

КУЛЬТУРА

И.В. КОНДАКОВ

**"Культурный промежуток"
и "культурный поворот"
(Вариации на темы Ю. Тынянова и Ю. Лотмана)**

"...Промежуток, когда инерции нет, по оптическим законам истории кажется нам тупиком... У истории же тупиков не бывает. Есть только промежутки".

Ю. Тынянов

Когда Ю. Тынянов ввел в научный и литературно-критический оборот слово "промежуток" (1924), немногие увидели в этом научное открытие эпохального масштаба. Между тем за понятием *культурного промежутка* скрывалось представление о культурной эпохе, имманентно характеризующейся прерыванием традиций – стилевой, жанровой, мировоззренческой. Именно в такие эпохи нарушается цельность, нарастает эклектика; распадаются социокультурные объединения, творчество атомизируется и индивидуализируется. Тынянов писал об иссякании "поэтической инерции". "Поэтическая инерция кончилась, группировки смешались, масштаб стал неизмеримо шире. Объединяются совершенно чужие поэты, рядом стоят далекие имена. Выживают одиночки". Однако эти же эпохи характеризуются рождением нового. "И рост этих новых явлений, – добавлял Тынянов, – происходит только в те промежутки, когда перестает действовать инерция; мы знаем, собственно, только действие инерции..." [Тынянов, 2001, с. 401].

С тех пор историки культуры знают: если мы наблюдаем прекращение инерции стиля, идей, методов, направлений, значит, мы находимся в начале "культурного промежутка" и нам стоит ожидать возникновения нового – научных и художественных, социальных и культурных инноваций. В начале каждого "культурного промежутка" находится "культурный поворот". Между ними существует явная взаимосвязь, своего рода обратная зависимость. Об этой взаимосвязи и зависимости, собственно, и пойдет речь в настоящей статье. И поводом послужит отдаленный ответ на тыняновский "вызов", который прозвучал в работах другого выдающегося исследователя русской культуры Ю. Лотмана – почти семь десятилетий спустя.

Конец культурной инерции

Доклад, с которым выступил 22 марта 1991 г. Лотман на очередной (последней для него) Блоковской конференции, посвященной памяти З. Минц и В. Беззубова, так и

Кондаков Игорь Вадимович – доктор философских наук, кандидат филологических наук, профессор кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета, заместитель председателя Научного совета РАН "История мировой культуры".

был назван автором – "В точке поворота" – и касался судеб мировой и русской культур на переломе к глобализации [Лотман, 1991^а]. Прогнозируя будущее строение "Большой культуры", Лотман подчеркивал, что ее отличительной особенностью станет не "культурная унификация", как предполагалось авторами всех антиутопий, а "структурное двуединство" – "способность быть одновременно единой и бинарной", то есть возможность "не только сохранить, но и культивировать структурное различие ее частей, разнообразие своих внутренних языков" [Лотман, 1991^б, с. 11].

Упомянутая ученым "Большая Структура", соответствующая "Большой культуре", – это *мировая культура*, складывающаяся из множества локальных культур и субкультур, а также из различных видовых разделений (литература и искусство, философия, наука, техника и т.п.). Однако "Большой Структурой" является и *культурология* – наука, осмысляющая становление и развитие другой "Большой Структуры" – мировой культуры. Она тоже складывается из множества частных субструктур – наук о многочисленных аспектах и формах культуры, образующих в совокупности целое, не равное сумме частей (филология, история, философия, семиотика, социология и пр.) или отдельных описаний различных культур, которые аккумулируются в теоретические и исторические представления о культуре вообще (культуры русская, французская, античная, средневековая культура старообрядцев, христианская, мусульманская, глобальная, локальная культуры и т.п.). Между "большими структурами" есть определенные соответствия, близкие к изоморфизму.

Выступая с докладом (одним из последних в своей жизни), Лотман чувствовал себя словно в эпицентре "Большой Структуры" – и той и другой. В этой точке его мировая известность как ученого, масштаб его структурно-семиотических исследований феноменов культуры делали его свободным как никогда. Он чувствовал себя если не творцом, то, по крайней мере, – реформатором "Большой Структуры", волею судеб оказавшимся в *точке поворота* этого грандиозного целого. И в то же время он понимал, что "точка поворота" в истории мировой культуры и в развитии научного знания о ней не целиком зависит от того, кто находится в "эпицентре"; что "поворот" в мировой и отечественной истории, культуре в конечном счете определяется тем, какова она, эта "Большая Структура" мира – независимо от того, что мы о ней думаем и какие тенденции развития в ней имманентно заложены.

Поворот в истории мировой культуры, о котором говорил Лотман, – это и глобализация, и окончание холодной войны, и скорый конец советской эпохи, и распад самого Советского Союза... И для того, чтобы ход мировой цивилизации не превращал субъектов культурно-исторического процесса в простых наблюдателей происходящего, нужно повернуться лицом к совершающемуся *Повороту*, понять свое место в "Большой Структуре" и, соответственно, во всех тех субструктурах, которые ее составляют и в то же время включают нас в нее. Как культуролог Лотман размышлял о месте глобализации в нашей жизни и о глобальном в нас; о путях развития мировой и русской культур на новом этапе их взаимодействия; о роли научного знания в осуществлении эпохального поворота всемирно-исторического целого, и в особенности о роли науки о культуре (то есть культурологии) в развитии культуры.

Разумеется, речь в докладе Лотмана шла и о многом другом: и о предстоящем 70-летию со дня смерти А. Блока, и об "эпохе Блока", и об А. Пушкине, и о Ю. Тынянове, и о Ф. Достоевском, и об А. Белом, и о Б. Пастернаке, и об А.Н. Толстом, и о Петре I, и об атмосфере Петербурга... Само собой всплыло из глубин подсознательного понятие "промежутка" (Тынянов) как "выражение сущности переживаемой эпохи". По словам Лотмана, "внешним знаком промежуточного времени" Тынянов в 1924 г. назвал смерть Блока как "*слишком* закономерное" событие [Лотман, 1991^б]. Конечно, в 1991 г. Лотман придает словам своего тезки новый, современный смысл. У Тынянова о смерти Блока говорится: "У нас нет поэтов, которые бы не пережили смены своих течений, – смерть Блока была *слишком* закономерной" [Тынянов, 2001, с. 401]. Тынянов подчеркивал, что смерть символизма как литературного течения на-

ступила раньше смерти Блока, и Блоку – крупнейшему и ярчайшему представителю русского символизма ничего не оставалось, как умереть самому.

Словам Тынянова о "*слишком* закономерной" смерти Блока Лотман придал иное символическое значение: наступившая после революции эпоха была по сути своей не поэтической, не способствующей творчеству. Блок же – *слишком* поэт, чтобы жить в такое время. В этом отношении смерть Блока символична. Далее Лотман добавил, что период "промежутка" в 1991 г. "еще продолжается" [Лотман, 1991⁶]. Ясно, что в качестве непоэтического "культурного промежутка" им понималась советская эпоха в целом. У истоков ее – Октябрьский переворот, Гражданская война, из культурных событий – поэма "Двенадцать" и смерть Блока. На другом конце более чем 70-летнего "промежутка" другой *культурный поворот* – начало 1990-х: "перестройка", "гласность", "новое мышление", агония советской идеологии, советского строя... Лотман ясно понимал, что "точка поворота" уже близка, хотя не отдавал себе отчета в том, насколько. Шел март 1991 года...

Конечно, Лотман почувствовал, помимо прочего, что и сама советская культура развивается как бы "по инерции". Возникнув во время революции как "культурный промежуток", прервавший действие всевозможных культурных и социальных инерций, советская эпоха со временем образовала свои собственные традиции, свою инерцию развития. Ощущение назревающего "культурного поворота" означало не только близкий конец "советского промежутка" в традициях русской культуры, но и наступление нового "культурного промежутка", связанного с переживанием конца "советской инерции", началом *промежутка постсоветского*. Как всегда, это означало для одних ощущение "исторического тупика", для других – возникновение нового, а вместе с тем – начало следующего "поворота": в культуре, в истории, в массовом сознании.

"Циркуль" русской культуры

Лотман родился через полгода после смерти Блока, и вся его сознательная жизнь, быть может, за малым исключением пришлось, в его представлении, на "культурный промежуток". Впрочем, и этого "малого исключения", скорей всего, не было. Ведь смерть самого ученого, наступившая уже "по ту сторону" *советского промежутка*, в конце 1993 г., стала таким же "слишком закономерным событием" для российской культурной истории. С этого времени началось триумфальное шествие по России культурологии как науки и как учебной дисциплины, в учреждении которых Лотман принимал самое активное участие; но тартуско-московская школа, увы, с уходом Лотмана прекратила свое существование. Остались лишь ее осколки... Она выполнила необходимую роль, осуществила поворот от советского промежутка к постсоветскому; поворот от филологии (в ее традиционном понимании) к гуманитарным наукам нового поколения – структурному анализу текстов, семиотике, постструктурализму, культурологии, интертекстуальному подходу к истории культуры.

И сам Лотман, и созданная им научная школа рождены "культурным промежутком". Достижения тут были обратной стороной утрат; научные открытия неотделимы от жизненных трудностей. Такова диалектика русской культурной истории. "Рождение трагедии" и "дух музыки" по-прежнему, как и во времена Ф. Ницше, связаны в один тугой узел. И личности, взявшей на себя в XX в. подвиг "рождения музыки" из "духа трагедии", нужно было иметь огромное мужество и нравственную силу, чтобы вынести все драматические коллизии и перипетии жизни ради торжества науки, культуры, творчества.

Жизнеспособность Лотмана как творческой личности вполне соответствовала сказанному им в блоковском докладе. Лотман ощущал себя на периферии того круга, центром которого был Блок, равноудаленный от Пушкина и от современности – конца XX столетия. "Если поместить острие воображаемого циркуля в эпоху Блока, то мы сможем очертить окружность, которая, с одной стороны, пройдет через время Пушкина, а с другой – очертит границу нашего времени..." [Лотман, 1991⁶]. Почти

двухвековой период истории русской культуры именно на Блоке разломился на две половины – от Пушкина до Блока и от Блока до наших дней. "Трещина" мира, о которой некогда размышлял Г. Гейне, прошла по сердцу поэта Серебряного века, и на этот раз этой *трещиной мира* была русская революция. Мало того, продолжал Лотман, "интересующий нас период отмечен конфликтным двуединством: он резко делится на две не только отличные, но прямо враждебные половины, и вместе с тем мы все-таки должны сказать о его единстве" [Лотман, 1991⁶]. Ведь дооктябрьская и советская истории были все же этапами одной – российской – культуры, а не двумя различными культурами, сменившими друг друга в XIX и XX вв. "Циркуль русской культуры" прочно связал Лотмана с Пушкиным и Блоком в одно неразрывное целое.

То, что Блоку, "поэту поворотной точки" [Лотман, 1991⁶], не могло не казаться *бездной*, разделяющей два мира – "старый", пушкинский и "новый", ленинский, – для Лотмана, *мыслителя поворотной точки*, означало лишь *культурный взрыв*, закономерно аккумулировавший противоречия предшествующего периода и предвосхитивший черты своеобразия последующего. Лотман мог как исследователь изучать и пушкинскую, и блоковскую эпохи, находясь сам как личность внутри советской культуры, резко контрастировавшей "временам и нравам" Пушкина и Блока. По сердцу культуролога также прошла зияющая трещина, отделившая в его практической деятельности культуру как объект исследования (XIX в.) от культуры как субъекта самосознания (XX в.). И эта культурная дилемма для ученого и всего "культурного промежутка", который он представлял, была полна мучительных переживаний и трудноразрешимых проблем.

Свое пребывание в советском смысловом пространстве Лотман, наверное, относил к категориям "бытового поведения" – не то привычного, не то вынужденного. На фоне этой рутинной повседневности обращение к А. Пушкину, Н. Гоголю, М. Лермонтову, Ф. Тютчеву, М. Ломоносову, А. Радищеву, Н. Карамзину и другим великим могло показаться "торжественным", "ритуальным" (имеется в виду принятое Лотманом различение структур "бытового", "повседневного" поведения и поведения "торжественного", "ритуального" [Лотман, 1992, с. 248–249]). Артефакты советской культуры практически не занимали внимания Лотмана-исследователя; если они и появлялись в поле его зрения, то выглядели, скорее, исключением из общих правил, отступлением от выбранных принципов. Впрочем, не называть же А. Блока, А. Белого, О. Мандельштама, Б. Пастернака, М. Булгакова или И. Бродского – редкие вкрапления XX столетия в лотмановские исследования – советскими авторами!

Но можно взглянуть на эту дилемму и по-другому: отдавая дань "советизму", Лотман как бы выполнял "торжественный ритуал", столь же условный, сколь и вынужденный. Так, к 100-летию юбилею В. Ленина Лотману пришлось написать аж две статьи на "ленинскую тему" – "В.И. Ленин об идеологической сущности движения декабристов" (4 страницы) и "Из истории изучения стиля Ленина" (3 страницы). Правда, чтобы сохранить ценностно-смысловое равновесие, в том же сборнике – "Труды по русской и славянской филологии" [Лотман, 1970] – он опубликовал гораздо более важную и типичную для себя статью – "Из наблюдений над структурными принципами раннего творчества Гоголя" (29 страниц). Зато никто из вышестоящих партийно-государственных руководителей теперь не мог упрекнуть Лотмана в том, что он не откликнулся на "столетие"!

А подлинной "повседневной жизнью" для него была русская классика, история и теория культуры – то непреходящее, вечное, что не могут отменить или исказить никакие марксистская идеология и советская интерпретация. Так или иначе, но разрыв между двумя культурными сферами был не только сознательным выбором ученого, во многом для него утешительным и спасительным, но и реальным взаимным отчуждением пресловутых "двух культур" (внутри одной – советской), которое было и причиной, и следствием селекционной культурной политики советского официоза. До конца жизни Лотман сохранял оппозиционно-полемический настрой по отношению к сущностным характеристикам советской культуры, самому ее духу, к ее типичным ар-

тефактам и идеологическим клише, политическим лозунгам и конформистским прописям.

Так, еще в советское время (правда, уже "перестроечное") Лотман вспоминал хрестоматийно-советские жизненные заветы: «Мы с детства знаем слова Николая Островского о том, что "самое дорогое у человека – это жизнь" и т.д. Но может быть, как раз совесть есть самое дорогое? Или честь? А может быть, творчество есть самое дорогое и лучшее, что человеку дано? По логике знаменитого высказывания получается, что Пушкин был... дурак. Стрелялся с Дантесом, а между тем мог бы еще долго жить: он был человеком крепкого здоровья, дожил бы до восьмидесяти лет и столько бы еще прекрасных вещей написал! А он решил, что поэмами можно пожертвовать. Есть такой момент в жизни каждого человека, когда он должен выйти к барьеру, потому что иначе он будет не человек. Он не будет себя уважать!» И далее, после цитаты из стихотворения Пушкина: "Но при этом очень важна причастность к культурной традиции. Она – рельсы из прошлого в будущее. Но гораздо труднее самим класть рельсы и самим же по ним ехать: тогда все получается сложнее и гораздо менее надежно..." [Лотман, 2005, с. 185]. (Это – о пресловутой корчагинской "узкоколейке", ставшей символом строительства социализма на обломках "старого мира", "разрушенного до основания".) Островский, в лотмановском изложении, не выдерживал ни спора с Пушкиным, ни сравнения с ним, как Павел Корчагин – с Евгением Онегиным. Ведь за ним не стояла культурная традиция. Скорее, Островского можно было бы интерпретировать как "анти-Пушкина", расчистившего пространство для строительства "нового мира".

С нескрываемым презрением отзываясь Лотман о теоретиках знаменитого в 1930-е гг. официозного журнала "Литературный критик", которые «создали концепцию, по которой прогрессивное значение западной культуры, художественная полноценность литературы завершились вместе с эпохой Бальзака. После этого уделом Запада сделалось "культурное гниение", а мировой центр переместился в Москву. В дальнейшем идея "гниющего Запада" и, соответственно, культурной изоляции ради сохранения идеологической чистоты получала уже совсем иные мотивировки» [Лотман, 1991⁶]. Насколько и те и "иные" мотивировки несостоятельны с научной точки зрения, Лотман даже не обсуждает.

Характерно, что называемые им имена "литературных критиков" приводятся с ошибками, свидетельствующими либо о крайнем невнимании или пренебрежении к этим именам и их идеям, либо о нескрываемой насмешке: "школа Лукача, В. Лившица" (правильно Мих. Лифшица) и "несколько иначе школа Грибба" (правильно – В.Р. Гриба). Подобные "описки" не могли быть случайными, особенно если учесть предельную щепетильность Лотмана в отношении к культурным деталям XVIII–XIX вв.

Сравнивая два периода в истории отечественной культуры, – условно говоря, "пушкинский" (или классический) и "никколоостровский" (или советский), Лотман в том же докладе называет первый из них "петербургским", второй – "московским". Второй период отмечен перенесением не только политического, но и культурного центра в Москву... Если Москва в первый период выполняла роль анти-Петербурга, то Ленинград во второй – анти-Москвы. Удар Жданова по Ахматовой и Зощенко был ударом по Ленинграду, самостоятельная историческая роль которого была восстановлена блокадой» [Лотман, 1991⁶]. Будучи "по факту" деятелем культуры "московского периода", Лотман оставался во всем, и довольно демонстративно, – *петербуржцем*, противостоящим московскому деспотизму.

Нарочито забывая о мимотекущей житейской "суете", идеологической конъюнктуре, политической трескотне, вольно или невольно окружавшей его с разных сторон, Лотман мыслил глобально, огромными смысловыми пластами, целыми культурными эпохами, их закономерностями. В этом отношении ему недостаточно было ощущать себя филологом, литературоведом, хотя и тем и другим он оставался до конца дней. Ему мало было сознавать свою причастность и к структурализму, и к семиотике с иными методологией и модальностью исследования культуры, позволявшими ощу-

тить близость к достижениям европейской и мировой гуманитарной науки. Гораздо важнее для него – причастность к глубинным мировым процессам, к пониманию закономерностей всеобщего порядка. Это осознание причастности к фундаментальным закономерностям всемирной истории давала только наука о культуре.

В самом деле, заметить, например, внутреннее сродство эпохи далекого Московского царства – с конца XV по какую-то часть XVII в. – и советской эпохи мог только культуролог, привыкший к широким типологическим сравнениям и эпохальным обобщениям. Вот характеристика конца обеих эпох – правления Самозванца и горбачевской "перестройки" – тех самых "точек поворота" истории, где культурологически ощущается начало конца и вновь начало: "Судорожные попытки выйти из кризиса путем сближения с Западом, предпринятые в эти годы, окончились, однако, неудачей, потому что в основе их лежала попытка подлечить тот порядок, который был безнадежно болен и созрел для уничтожения. Половинчатые и нерешительные попытки реформ нанесли ему окончательный удар. Далее последовала смута – полный развал вековой государственности, распадение недавно еще мощного централизованного царства. Все это сопровождалось неслыханными страданиями для населения и, естественно, вызвало противонаправленную волну усилий по возрождению земли. Начался новый круг: сначала медленное накопление сил, а затем динамический рывок... Завершением этой второй волны мы являемся свидетелями" [Лотман, 1991⁶].

Хочу напомнить: Лотман говорил это 22 марта 1991 г., и все испытания цивилизационного порядка – августовский путч, распад СССР, конец коммунизма, независимость Прибалтики, шоковые рыночные реформы Е. Гайдара, октябрьский штурм Белого дома – еще впереди. Но Лотману не нужно было всего этого видеть: сама логика истории, а еще точнее – истории культуры позволяла культурологу строить прогнозы грядущего с высокой точностью в деталях. Все узнаваемо до оторопи: в начальных событиях Смутного времени XVII в. точно прочитывается агония позднесоветского режима и первые шаги постсоветской реальности. И та и другая эпоха говорят современникам и потомкам на языке Смуты, а русская история предстает в освещении ученых конца XX в. как циклически повторяющаяся, пульсирующая, одновременно и равная себе, и отличная от себя.

Другого рода параллели прослеживает Лотман в своем докладе в связи с ожиданием исторического поворота и возникновением новой культурной парадигмы. Блок обозначил собой одну "точку поворота" – революционного взрыва: далее следовало формирование тоталитарной парадигмы – социальной, культурной, политико-идеологической. Другую "точку поворота" предчувствовал Лотман в ближайшей современности. Снова – революционный сдвиг, на сей раз – в сторону *от* тоталитаризма и международной изоляции, *от* идей мирового коммунистического господства. В первом случае "маятник истории" качнулся в сторону *от* европейской "магистральной", и Советская Россия пошла своим, особым путем. Во втором – Россия возвращалась в лоно европеизма, в русло мировых закономерностей.

Имея дело с крутыми, хотя и предсказуемыми "поворотами" истории, Лотман в последние годы жизни нередко обращался к двум жанрам – *воспоминаниям* и *прогнозам*, при помощи которых ему удавалось выражать признаки социокультурного кризиса, цивилизационного слома, переживавшегося как агонизирующим Советским Союзом, так и Россией Смутного времени. Недаром примерно за год до кончины ученый взялся за осмысление "Механизма Смуты" как наиболее общего движущего фактора российской истории. «В настоящее время, – писал подчеркнуто драматически Лотман в 1992 г., – переживаемый Россией кризис, с одной стороны, все тот же кризис, который в разных формах, но с единой сутью повторялся весь период между Петром и нашей современностью. С другой стороны, мы переживаем принципиально новую ситуацию, ибо сейчас вопрос о переходе к общеевропейской тернарной структуре приобрел гамлетовский характер – "быть или не быть"» [Лотман, 2002, с. 46]. Нетрудно заметить, что Лотман в своих исторических lamentациях близок к тому, чтобы трактовать начинающийся "культурный промежуток" постсоветского времени в терминах "конца ис-

тории", "исторического тупика", апокалиптических настроений, вскоре охвативших значительную часть бывшего советского общества.

В стране "бильярдных шаров"

В то же время через те же жанры Лотман передавал взгляды и ощущения уходящего с исторической арены поколения, к которому принадлежал он сам. Поколения, родившегося сразу после Октября, складывавшегося в 20-е и 30-е годы прошлого века вместе с советской властью и пережившего сталинскую эпоху, принявшего участие в Великой Отечественной войне, закончившего университеты в начале 1950-х, сформировавшегося в мировоззренческом и научном отношении в годы "оттепели", выстоявшего свои идеи и принципы во время "застоя", поддержавшего "перестройку" и увидевшего под конец жизни крушение советской власти и смутное зарождение нового демократического строя. По существу, поколение, к которому принадлежал Лотман, было (на протяжении всей жизни) отражением и выражением советской эпохи во всех ее перипетиях: взлетах, падениях, иллюзиях, разочарованиях, сопротивлении, подчинении, присвоении, отчуждении...

Оба облюбованных им в последние годы жанра – *мемуары* и *прогнозы* – очень субъективные по отношению к реальности, обладали важнейшим достоинством в глазах творческого человека – свободой авторского самоизъявления в культуре и перемещения в истории. Это характерно для мыслителя, выпавшего из своего "культурного промежутка".

Мемуары позволяли очевидцу событий передать неповторимые детали лично пережитого, рассказать о фактах, о которых никто больше не сможет рассказать. В свою очередь, *предсказания* и *прогнозы* открывали ученому шанс безоглядно высказаться о будущем, как его представляло то поколение, которому не суждено его увидеть воочию. Один жанр характеризовал *прошлое*, которого уже нет, а другой – задумывался о *будущем*, которого еще нет и неизвестно, будет ли оно вообще. Тем временем *настоящее* оказывалось как бы элиминированным из актуальной культуры – неуловимым мгновением между прошлым и будущим культуры.

"Воспоминания, – размышлял Лотман в 1992 г., – это, с одной стороны, лирический и не без некоторой грусти взгляд на прошедшее. С другой стороны, участники школы вдруг обнаруживают, что они интересны тем, что помнят, как это было. Я тоже сейчас переживаю этот шок, потому что мне еще трудно согласиться, что из списка деятелей я вычеркнут, хотя, реально говоря, это так, если себя не обманывать и смотреть на вещи прямо". Относя лично себя и ученых своего поколения к числу "так сказать, научно убитых" [Лотман, 2005, с. 147], Лотман со свойственными ему смелостью и мужеством признавался в исчерпанности, завершенности созданной им научной школы и структурально-семиотической парадигмы научного мышления. Все они выполнили свою революционную миссию в отношении застойной советской науки и тоталитарной культуры, и на смену тартуской школе должны прийти новые, молодые силы, не растратившие себя на борьбу с бесчисленными запретами, непреодолимыми препятствиями и тупыми своекорыстными партийно-советскими чиновниками. Уход Лотмана из жизни не случайно совпал с концом советской эпохи...

Впрочем, подобная грусть, граничащая с шоком, имеет место в любой смене поколений и не представляет ничего необычного в истории культуры. В случае Лотмана необычно то, что сам ученый стоит на рубеже двух эпох – советской и постсоветской, конфронтационной и глобалистской, модерна и постмодерна, и ему – знатоку, историку и теоретику культуры – видны в совершающемся такие механизмы и тенденции развития, которые неочевидны для большинства его современников. Он одновременно и *включен* в свой "культурный промежуток", и *внеаходим* по отношению к нему. Как культуролог Лотман не ностальгирует по советскому прошлому, но и не торжествует по поводу его конца. Он переживает все перипетии своего "культурного промежутка" и происходящего в его конце "культурного поворота" как исследователь куль-

туры; пытается понять их закономерности изнутри переходного процесса, в рамках пограничной ситуации – насколько ему позволяют стремительно убывающие силы и утекающее время собственной жизни.

Конечно, в таких прогнозах ученого, особенно если не удастся проверить, подтвердилось или нет его предвидение, очень много от пресловутого "сослагательного наклонения". Но это для политиков "средней руки" сослагательного наклонения в истории не бывает. А для культуролога – это альтернативная история или типология культуры, виртуальный прием исследования, гипотетическое моделирование социокультурной реальности. Обычное дело... Впрочем, Лотман всегда любил "сослагательное наклонение" в истории. Как исследователю истории культуры ему казалось поучительным наглядно представить альтернативный "ход" истории, как если бы его спровоцировали какие-нибудь эксклюзивные обстоятельства – случайные или закономерные.

"Часто слышу мысль о том, – говорил Лотман, – что история не знает сослагательных наклонений. Не соглашусь: знает! Потому что ни одна ситуация не дает однозначного решения. История не фатальна. Мы видим шансы в прошлом и не видим их в настоящем. А знаете, почему мы мало видим шансов вокруг себя? Потому что шансы в прошлом или будущем нам ничего не стоят". И далее: "Если мы предположим, что в истории происходит то, что должно было произойти (а мы так часто говорим), то с нас нет никакого морального спроса. Мы уподобляемся бильярдным шарам: разве можно спросить с него, что он покатился под тем, а не иным углом? Он лишь подчинился законам геометрии, механики и т.д. У человека всегда есть выбор, ибо он обладает интеллектом" [Лотман, 2005, с. 185–186].

Интересны два художественных сюжета, в течение длительного времени занимавшие ученого, будто бы даже собиравшегося реализовать их практически в намеченных им литературных замыслах, так и оставшихся не осуществленными. Как вспоминает друг и единомышленник Лотмана Б. Егоров, Юрия Михайловича интересовало, "как бы развивалась русская история, русская общественная жизнь, если бы в 1825 году победили декабристы, а в начале 1860-х годов страной завладела бы партия Чернышевского. Вырисовывались интересные сюжеты о борьбе Пестеля с северянами за власть, победа Пестеля, причудливая смесь демократических и деспотических принципов, агрессивная внешняя политика, обласкивание, а потом жестокое отталкивание не поддающегося власти Пушкина. А в шестидесятых годах – Писарев с Зайцевым во главе русского Просвещения, разгон университетской профессуры, варварская, похлеще николаевской, цензура, потом сбрасывание, как слишком мягкотелых, вождей Нечаевым и установление сталинского режима в России за 60 лет до Сталина" [Егоров, 1994, с. 481].

Все это гипотетическое домысливание вариантов исторического процесса, представляющее в антиутопических моделях Лотмана, доказывает не только "типологическую общность всех заговорщицких революций, неумолимо приходящих к деспотии", и путь "мужественных и благородных романтиков" к "созданию тоталитарного режима" [Егоров, 1994, с. 481], но и глубинное родство самодержавия и революционного тоталитаризма, реакции и радикализма, просвещения и "затемнения" народа. Каждый государственный или идеологический переворот в России ничего по сути в ее культурной и общественной жизни радикально не менял; даже смена строя не открывала альтернативы в социокультурном развитии страны. Безальтернативность русской истории и истории русской культуры, рождающаяся в представлении выдающегося исследователя России, поражает, угнетает. Думал ли Лотман о том, как будет развиваться Россия после советской власти и насколько постсоветское развитие будет контрастировать советскому? Однако еще больше занимала ученого мысль о личной ответственности деятеля культуры за ход истории.

"В истории есть процессы случайные, – рассуждал Лотман, – но как только случайное совершилось, оно меняет коренным образом ситуацию и становится закономерным. История дает нам все время возможности выбора. А потому ни наш ум, ни наша совесть не есть нечто исключенное из истории. И личность человеческая из истории

не исключена. Человек – это не марионетка, которую дергают за нитки исторические закономерности". И возвращаясь к мысли о "безальтернативности" истории: "В разные эпохи Россия могла бы выбирать из множества путей". Однако «передовые мероприятия, различные своевременные реформы срывались силами косности, привычки, бюрократии, наконец, и всем тем, что мы теперь называем "силами застоя", традиция которых в России очень сильна» [Лотман, 2005, с. 186–187]. Российские "силы застоя" ученый знал не понаслышке.

Уж кто-кто, а Лотман как историк и теоретик русской культуры знал, причем досконально, что могли бы предложить написать Пушкину декабристы после своего прихода к власти и что он мог сказать им в ответ со свойственным ему вольнолюбием; как стали бы проводить в жизнь свои преобразования П. Пестель "со товарищи" и как отнеслись бы к этим проектам, столь же утопическим, как и популистским, представители столичного и провинциального дворянства; как повели бы себя "вольноотпущенные" крестьяне, подавшись после "освобождения" кто в кабак, кто в город, а кто и в леса; с каким бы триумфом был встречен бежавший в эмиграцию Николай I при своем возвращении "на белом коне" в постдекабристскую Россию, уже испытавшую хаос анархии, хозяйственную разруху, голод, мятежи, репрессии и прочие "прелести" спонтанных политических и экономических экспериментов, – реформ, не обеспеченных культурой. Альтернативной истории, выстраиваемой Лотманом, помогала и экстраполяция наблюдений за всеми последующими реформами в России на обстоятельства "века минувшего".

Однако при всей своей политической проницательности Юрий Михайлович не был политологом: гораздо точнее его литературные сюжеты говорят о нем как о филологе, литературоведе, историке русской литературы. В первом сюжете чувствуются эрудиция и текстологические навыки выдающегося пушкиниста, прекрасное знание литературного творчества и бытового поведения декабристов, отражены судьбы и портреты просвещенных дворян пушкинской эпохи в произведениях последующей русской литературы (включая прозу Тынянова). Во втором сюжете узнаются не только многочисленные аллюзии на творчество и судьбы Н. Чернышевского, Н. Добролюбова, Дм. Писарева и других демократов, но и щедринская "История одного города", и некрасовские поэмы, и сны Веры Павловны, и русские антинигилистические романы, и печально знаменитый доклад одного из "бесов" Достоевского – Шигалёва, обещавшего начать с "абсолютной свободы", а закончить "абсолютным рабством", и тем самым превратить народ в "стадо счастливых младенцев". Лотмановские сюжеты в такой же мере вписываются в русскую социально-политическую историю, в какой продолжают и развивают идейно-образное содержание русской литературы.

Лотман не стал беллетристом, но, чтобы представить варианты и архетипы культурной истории России, ему и не нужно было становиться писателем: как культуролог он вполне мог вообразить себе художественную картину возможного и не только нарисовать, но и проанализировать виртуальную реальность гипотетического бытия, которая коррелировала бы как с существующей социально-исторической, так и с литературно-художественной реальностью, разворачивающейся в текстах русской литературы. Все три упомянутые реальности в культурологическом освещении представляли как взаимодополнительные, а в целом – как ценностно-смысловое единство русской культуры и одновременно как "беседы о русской культуре" ее знатока и аналитика.

Находясь в 1991 г. в своего рода "эпицентре" культурного "взрыва", ученый обнаружил, что все противоречивые модели культурной современности укладываются "в одну общую тенденцию: непрерывного исторического расширения, в ходе которого организация в пределах одного поселения движется в сторону глобальности. Процесс образования последней сделался в XX веке настолько зримым, что сомневаться в нем уже невозможно, и это существенно меняет все более частные процессы" [Лотман, 1991⁶]. Это и была "точка поворота" – как русской, так и мировой культуры, отмеченная Лотманом. С нее и начиналось "движение в сторону глобализации".

Насильственная глобализация, обычно столь пугающая всех антиглобалистов, – крайне непрочная, хрупкая и недолговечная. Совмещение локального и глобального образует противоречивую двойственность "Большой Структуры" (мировой культуры). "Однако эта двойственность жизнеспособна, только если одновременно является единством. Последнее, однако, достигается не внешним насилием, а подключением структуры, при которой каждая минимально замкнутая частица подобна (изоморфна) целому и в этом смысле является целым". "Функционально наиболее эффективной", говорил Лотман, является система, "троичность которой достигается одновременным слиянием бинарной и унифицированной структур" [Лотман, 1991⁶].

"Включение в общечеловеческие структуры не уничтожает, а напротив, подчеркивает историческое своеобразие каждой из них. Историческое же своеобразие русской культуры, в частности, заключается в перевесе непредсказуемых процессов над предсказуемыми и, следовательно, в приоритете художественного мышления перед техническим" [Лотман, 1991⁶]. Здесь Лотман уже вступал в область прогнозов цивилизационно-исторических и культурно-типологических, быть может, особенно проблематичных с точки зрения их валидности. Но прогнозирование судеб отечественной и в связи с ней мировой культуры занимало ученого под конец жизни все больше и больше. Он словно хотел заглянуть за горизонт. Это было особенно важно для культуры, длительное время пребывавшей под эгидой тоталитаризма и потому постоянно уподобляемой "игре в бильярд".

Взрыв или компромисс?

"Точка поворота" в истории культуры, замеченная Лотманом, давала повод задуматься о том, насколько различаются между собой разные "повороты истории", – например, в России и Европе. Выяснилось, что такие культуры, как русская (российская), развиваются посредством *взрыва*, в то время как остальные – путем диалога и поиска *компромисса*.

Как писал ученый в своей последней книге "Культура и взрыв", имея в виду прежде всего русскую культуру как характерный случай *бинарной* культурной системы, «идеалом бинарных систем является полное уничтожение всего уже существующего как запятнанного неисправимыми пороками... В бинарных системах взрыв охватывает всю толщу быта. Беспощадность этого эксперимента проявляется не сразу. Первоначально он привлекает наиболее максималистские слои общества поэзией мгновенного построения "новой земли и нового неба", своим радикализмом. Цена, которую приходится платить за утопии, обнаруживается лишь на следующем этапе. Характерная черта взрывных моментов в бинарных системах – их переживание себя как уникального, ни с чем не сравнимого момента во всей истории человечества» [Лотман, 1993, с. 258]. Отсюда идеи избранничества в национальном, государственном, религиозном или политическом планах, мессианские концепции исторического процесса, культурологические и философские прогнозы и пророчества в культурах бинарного типа. К таким культурам, в частности, относятся русская, еврейская, отчасти немецкая, а также многие национальные культуры бывшей Российской империи и Советского Союза, тесно связанные судьбой с русской культурой, "задавшей" им модель поведения, развития, самореализации, саморефлексии и самоутверждения.

Другое дело – культуры *тернарного* типа (триединые, или тройственные по своему строению), к числу которых принадлежит большинство западноевропейских культур, точнее – культур Запада (включая американскую). "В тернарных структурах самые мощные и глубокие взрывы не охватывают всего сложного богатства социальных пластов. Центральная структура может пережить столь мощный и катастрофический взрыв, что грохот его, безусловно, отзовется на всей толще культуры. И все же, в условиях тернарной структуры утверждение современников, а за ними и историков о полном разрушении всего строя старой системы является смесью самообмана и тактического лозунга... Тернарные структуры сохраняют определенные ценности предше-

ствующего периода, перемещая их из периферии в центр системы. Тернарная система стремится приспособить идеал к реальности, бинарная – осуществить на практике неосуществимый идеал" [Лотман, 1993, с. 257–258]. Отсюда берут начало практицизм, детальная формализованность, "оформленность" западной культуры, ее нормативность (в категориях морали и особенно права), ее усредненность (связанная с детерминированностью обстоятельствами) и эволюционность, постепенность исторического развития.

Русская культура на протяжении многих веков своей новой и новейшей истории, – показывал Лотман, – строилась как бинарная система и создала себя в антитезах, оппозициях. Так, "в антитезе милости и справедливости русская, основанная на бинарности, идея противостоит латинским правилам, проникнутым духом закона... Тем более знаменательно устойчивое стремление русской литературы увидеть в законе сухое и бесчеловечное начало в противоположность таким неформальным понятиям, как милость, жертва, любовь. За этим вырисовывалась антитеза государственного права и личной нравственности, политики и святости". Противостоящая ей в своих коренных, основополагающих принципах западная цивилизация тяготеет к триединой целостности. По словам ученого, "целостная структура ориентирована на усредненность и выживание, ее механизм – юстиция" [Лотман, 1993, с. 260, 262].

Исследование природы и генезиса культурных взрывов, форм и исторических последствий их протекания в различных культурах показало, что в разнообразных по своей структуре культурах взрыв протекает различно. "В троичных системах взрывные процессы редко охватывают всю толщу культуры. Как правило, здесь имеет место одновременное сочетание взрыва в одних культурных сферах и постепенного развития в других... Эта способность культуры, выросшей на основе Римской империи, сохранять в изменениях неизменность, а неизменность делать формой изменения, наложила отпечаток на коренные свойства западной европейской культуры". Иной характер отношения к взрыву в бинарных культурах. "Для русской культуры с ее бинарной структурой характерна совершенно иная самооценка. Даже там, где эмпирическое исследование обнаруживает многофакторные и постепенные процессы, на уровне самосознания мы сталкиваемся с идеей полного и безусловного уничтожения предшествующего и апокалипсического рождения нового" [Лотман, 1993, с. 267–268].

В свете наблюдений над природой и протеканием взрыва в культуре выстраивается следующая типология русской и западноевропейской культур. "Бинарная ситуация пересекает эволюцию разрывами, рассекающими ее непрерывность... В цивилизациях западного типа... взрыв разрывает лишь часть пластов культуры, пусть даже очень значительную. Непрерывность переплетается с разрывами, образуя единую историческую связь. В бинарных структурах моменты взрыва могут разрывать цепь непрерывных последовательностей, что неизбежно ведет к глубоким кризисам, но и к коренным обновлениям" [Лотман, 1993, с. 261–262].

Дискретность русской истории и истории русской культуры, как можно видеть, *амбивалентна*: она чревата трагическими катастрофами, сопровождаемыми гибелью массы людей, разрушением материальных и уничтожением духовных ценностей, опустошительными переломами и переоценками в общественном сознании народа и интеллигенции, и т.п. В то же время именно дискретность русской социальной и культурной истории обеспечивает ее динамичность, ускоренность, порождение в ее недрах небывалых по своей новизне и оригинальности социокультурных явлений и процессов. Главное же, что составляет специфику и драматизм судьбы русской культуры как культуры бинарной и развивающейся дискретно, – это то, что "русская культура осознает себя в категориях взрыва" [Лотман, 1993, с. 269].

В этом проявляются все достоинства и пороки бинарных культур. «Одна из существенных линий различия между бинарной и тернарной системами заключается в том, что первая обладает рядом преимуществ, если воспринята как идеал, а не практическая программа действия. Будучи превращена в политическую практику, она неизбежно деградирует до крайних форм деспотизма. Известные слова Христа: "Да будут

слова ваши да-да и нет-нет, остальное от лукавого" не могут быть отделены от других: "Царство Мое не от мира сего". Политическая реализация бинарной структуры – безнадёжная попытка построить царство небесное от мира сего, что в реальности порождает лишь крайние формы деспотизма. Отсюда бесспорное положительное значение бинарных структур во вторичном слое культуры – в области идей и искусства и столь же значительная опасность опытов реализации их в сфере политической реальности. Этим определяется и притягательность и слабость русского типа культуры. Жизнь без Толстого и Достоевского была бы нравственно и духовно бедной, жизнь по Толстому и Достоевскому была бы нереализуема и чудовищна» [Лотман, 2002, с. 44–45]. Увы! Знаменитая мысль Чернышевского, канонизированная в советское время, что литература должна быть "учебником жизни", с культурологической точки зрения не подтверждалась и была верна лишь в отношении того или иного "культурного промежутка".

Эпохально-историческое значение посттоталитарного периода истории, постсоветского "культурного промежутка", в который вступила Россия и вместе с ней русская культура, – грандиозно¹. Лотман убедительно писал по этому поводу: "Процесс, свидетелями которого мы являемся, можно описать как переключение с бинарной системы на тернарную. Однако нельзя не отметить своеобразие момента: сам переход мыслится в традиционных понятиях бинаризма... Переход от мышления, ориентированного на взрывы, к эволюционному сознанию приобретает сейчас особое значение, поскольку вся предшествующая привычная нам культура тяготела к полярности и максимализму" [Лотман, 1993, с. 264–265]. И далее, как грозное предупреждение: «Коренное изменение в отношениях Восточной и Западной Европы, происходящее на наших глазах, дает, может быть, возможность перейти на общеевропейскую тернарную систему и отказаться от идеала разрушать "старый мир до основания, а затем" на его развалинах строить новый. Пропустить эту возможность было бы исторической катастрофой» [Лотман, 1993, с. 270].

Таким образом, вопрос настоящего этапа исторического развития русской культуры заключался в том, чтобы по возможности сгладить, смягчить, "сдемпфировать" взрывные процессы, протекающие в данный момент; чтобы найти формы "переключения" бинарной системы на тернарную, выработать "язык" перевода дихотомической логики культурно-исторического развития на трихотомическую; найти такие формы самосознания русской культуры, которые бы не воспроизводили одни и те же механизмы непримиримой партийной борьбы, ценностной поляризации, этического максимализма, жесткой конфронтационности, радикального переустройства общества, и т.д. Прежняя методология осмысления и анализа культуры строилась как исключительно *дихотомическая*: классовая и формационная оппозиция, "черно-белые" критерии любых оценок, мушкетирование образа "врага" в политике и культуре, резкая идеологизация и политизация всех культурологических интерпретаций, идейная нетерпимость в отношении всего, выходящего за пределы узкой "нормы", последовательная "селекция" культурного материала с позиции теории "двух культур", классовой и идеологической борьбы, "двух миров", – словом, "нашего" и "ненашего" ("чужого", "враждебного", "злокозненного").

Отойти от традиций социокультурного раскола, бинарности – если не в самом социокультурном материале истории, не в реальности (Лотман специально оговаривает, что "в сфере реальности взрывы исчезнуть не могут"), не в менталитете русской культуры² – это значит научиться осмыслять, интерпретировать и оценивать социокультур-

¹ Точнее было бы говорить о государствах бывшего Советского Союза и культурах народов бывшего СССР в целом, так как происходящие в них процессы если не буквально идентичны, то изоморфны, развиваются по типологически сходным моделям и сценариям.

² Лотман добавляет, что и здесь нельзя желать невозможного: «этический максимализм настолько глубоко укоренился в самих основах русской культуры, что об "опасности" абсолютного утверждения золотой середины вряд ли можно говорить и уж тем более опасаться, что выравнивание противоречий затормозит творческие взрывные процессы» [Лотман, 1993, с. 265].

ные процессы, сохраняющие свой "взрывной" характер, в категориях троичного мышления, трихотомичной методологии. Это значит овладеть методом сознательного "перевода" бинарных структур бытия в тернарные структуры сознания, членить картину мира по логике триад и тем самым облегчить вхождение на тех или иных основаниях "бинарности" в "тернарность", локальных структур – в Большую Структуру мира.

"Творческое значение трещины"

Лотман был культурологом, а не политологом или социологом, а значит, имел дело с ценностно-смысловыми структурами, действующими в культуре и сознании, а не в социальной, по преимуществу практической, реальности. Поэтому его прогнозы и носили характер гипотез, социокультурных проектов, культурно-исторических тенденций. Величие Лотмана состоит не в том, что он предсказал трудное вхождение России и русской культуры в объединенную Европу или обосновал скорое превращение русской культуры в разновидность западной, а в том, что он заметил "точку поворота" в отношениях между русской и западной культурами, видел и понимал реальные проблемы, с которыми Россия постоянно сталкивалась на своем пути и с которыми она обязательно будет еще не раз взаимодействовать – остро, драматично, конфликтно.

Не случайно свой доклад на Блоковской конференции 1991 г. Лотман закончил фразой: "В этом возможность трагедий в будущем, но одновременно и высокой поэзии" [Лотман, 1991⁶]. Он отдавал себе отчет в том, что происходящий исторический "поворот" не только величествен, но и трагичен, ибо вместе с решением одних проблем возникают новые, еще более трудные, еще менее разрешимые.

Культуролог всегда находится в "промежутке" – условно говоря, между "высокой поэзией" и "рождением трагедии", между культурным проектом и повседневностью. С одной стороны, исследователь культуры должен постоянно иметь в виду верхнюю "планку" критериев оценки; с другой – видеть реальные тенденции культурного развития, даже близко не соотносимые с шедеврами и эталонными образцами "высокой культуры". Конфликт между "верхним" и "нижним" – трагедия.

Лотман тоже был "человеком промежутка", к тому же оказавшимся в "точке поворота". Правда, не всякому, кто оказался в "промежутке" и даже в "точке поворота", удастся понять, что это такое: между чем и чем – "промежуток" и в какую сторону осуществляется "поворот". Заслуга Лотмана в том, что он не только понял это, но и сумел доказать другим, что это – *поворот к культуре* и поэтому следует заняться *наукой о культуре – культурологией*. Далее, он пришел к заключению, что культура – это *структура текста и система знаков*, а потому, чтобы изучать культуру, надо анализировать структуры и знаковые системы, то есть заниматься *культурной семантикой* – универсальным содержанием культуры – и *семиотикой культуры* – научной систематизацией культурной семантики, позволяющей увидеть за множеством "культурных знаков" знаковые системы, а за аморфностью культурной семантики смысловые структуры. Наконец, он почувствовал, что поворот в культуре, поворот в науке, даже в какой-то мере поворот самого хода истории во многом зависит и от того, кто находится "в точке поворота" и знает, куда надо "повернуть".

«Напомню вам, – говорил Лотман под конец жизни, – что сказал поэт: "Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта". Вот творческое значение трещины. Именно нахождение с трещиной в сердце или вне – это и есть нормальное состояние динамической структуры» [Лотман, 2005, с. 156]. Лотман определенно чувствовал себя в эпицентре динамической структуры, в самой точке исторического разлома. Зияющая трещина, разделившая в его практической деятельности культуру как объект исследования и культуру как субъект самосознания; отделившая русскую культуру от советской; идеологию от науки, профанацию от идеи, – не только саднила и болела, но и наталкивала на понимание происходящих в культуре процессов, на творческое развитие предшествующих научных идей и на порождение новых, на предсказание путей исторического развития культуры.

Оттолкнувшись от тыняновской идеи "промежутка", Лотман пришел к понятию "поворота"; задумавшись о природе и механизмах "культурного поворота", ведущего к формированию "культурного промежутка", он вышел на феномен "культурного взрыва", отделяющего одну культурную парадигму от другой. Наблюдения над парадигматикой русской культуры натолкнули ученого на выводы о "творческом значении" трещин, раскалывающих культуру на противоречивые части и порождающих механизмы культурной динамики и исторического развития. История культуры предстала как динамическая структура, складывающаяся из "культурных промежутков" и "культурных поворотов".

Но вот что интересно: если раньше в "точке поворота" (культуры, истории и т.п.) находился *поэт* – Пушкин, Блок, Пастернак, – творческая, тонко чувствующая душа, то теперь – "трещина мира" проходила по сердцу ученого-гуманитария, *мыслителя*. Прежде ключевой фигурой культурно-исторического процесса становился *творец культуры, художник*, теперь же – ее исследователь, аналитик, интеллигент. Не просто "человек культуры", а *культуролог*. Культура как некий "срез" мирового состояния отныне была не столько поводом для эмоциональных переживаний, не столько симптомом эстетических потрясений, становящихся достоянием художника и его аудитории, сколько материалом для анализа, интерпретаций и прогнозов, которые под силу только научному сознанию.

Вот только трещину культуры, проходящую по сердцу – поэта ли, мыслителя, – человеку трудно пережить...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Егоров Б.Ф. Полвека с Ю.М. Лотманом // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.

Лотман Ю.М. Воспитание души. Воспоминания. Интервью. Беседы о русской культуре (телевизионные лекции). СПб., 2005.

Лотман Ю. В точке поворота // Тезисы докладов научной конференции "А. Блок и русский постсимволизм". 22–24 марта 1991 г. Таллинн, 1991^а.

Лотман Ю. В точке поворота // Литературная газета. 1991^б. 12 июня. № 23.

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1993.

Лотман Ю.М. Механизм Смуты (К типологии русской истории культуры) // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002.

Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю.М. Избр. статьи. В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992.

Труды по русской и славянской филологии. Т. 15. Литературоведение. Тарту, 1970.

Тынянов Ю. История литературы. Критика. СПб., 2001.

© И. Кондаков, 2008

Сдано в набор 16.04.2008	Подписано к печати 30.05.2008	Формат бумаги 70 × 100 ^{1/16}
Офсетная печать	Усл.печ.л. 14,3	Усл.кр.-отт. 17,0 тыс.
	Тираж 1179 экз.	Уч.-изд.л. 18,5
		Бум.л. 5,5
		Зак. 281

Свидетельство о регистрации № 0110134 от 04.02.1993
 Министерство печати и информации Российской Федерации
 Учредители: Российская академия наук, Президиум РАН

Адрес редакции: Мароновский пер., 26, Москва, 119049
 Издатель – Академиздатцентр "Наука", Профсоюзная ул., 90, Москва, 117997
 Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"
 Отпечатано в ППП «Типография "Наука"», Шубинский пер., 6, Москва, 121099